

Баллада о весёлой вдове



18+

Мелоди Свон

Мелоди Свон

Баллада о весёлой вдове

«Автор»

2026

Свон М.

Баллада о весёлой вдове / М. Свон — «Автор», 2026

Меня зовут Арабелла Хартвелл. Мне двадцать семь, я вдова, и восемь лет брака уместились во вторники и пятницы с девяти до половины десятого. Траур закончен, у меня новое платье цвета спелой сливы и план из трёх пунктов: случайная встреча, пусть думает, что это его идея, и ни в коем случае не влюбляться. Он — Роджер Эшфорд, младший сын герцога, огненный маг, дуэлянт и главный ловелас сезона. Идеальная кандидатура: такие не влюбляются, не делают предложений и уезжают к оперным певицам, не оставив после себя ничего, кроме приятных воспоминаний. А ещё у меня есть восьмилетняя дочь с блокнотом, шестилетняя дочь, которая уверена, что он дракон, тётушка с лорнетом, кот по кличке Епископ и родственник с усиками, которому очень нужно, чтобы я «уронила честь рода». Да, здесь есть всё: колонны, дождь, сломанная карета, одна кровать на постоялом дворе и двери, которые распахиваются в самый нужный момент. Клише? Клише. Я предупреждала. Только не говорите, что не знали, чем всё кончится.

© Свон М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Куплет первый. О вдовах, которые не плачут	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Мелоди Свон

Баллада о весёлой вдове

Куплет первый. О вдовах, которые не плачут

Знаете, все вот эти до нелепого клишированные истории про юных невинных дев, которых злая мачеха продаёт старому герцогу, а спасает их, разумеется, герцог молодой, с челюстью, которой можно колоть орехи? Так вот, это не она. Ну, то есть не совсем она. Я не юная, не дева и уж точно не невинная. Я — вдова. Весёлая. Это важно, запомните, потом спрошу.

Меня зовут Арабелла Хартвелл, баронесса Хартвелл-холла, что в трёх днях пути от столицы Альбрии, если ехать на приличных лошадях, и в пяти, если на тех, что остались мне от покойного мужа. Мне двадцать семь лет. У меня две дочери, ровно отмеренный природой магический дар и ровно отмеренный покойным мужем годовой доход. Ни то ни другое не впечатляет. Дочери, впрочем, впечатляют, но о них чуть позже, они этого заслуживают.

Сейчас мне, видимо, положено рассказать, как я до такой жизни докатилась. Хорошо. Только недолго, а то у меня там дальше ловелас стоит у колонны и скучает. Ладно, вру. Долго. Потому что, если я не расскажу вам про Хартвелл-холл, вы не поймёте, почему я так хотела оттуда сбежать. А если не расскажу про Эдмунда, вы не поймёте, почему мне было так стыдно этого хотеть.

Мой отец, сэр Годфри Пэкстон, был человеком обаятельным, весёлым и совершенно не приспособленным к жизни. Высокий, худой, с копной вечно растрёпанных пепельных волос и глазами цвета разбавленного чая, он напоминал цаплю, которая случайно забрела на светский приём и теперь не знает, на какую ногу встать. Он носил жилеты немислимых расцветок — канареечные, малиновые, в мелкую зелёную клетку, — потому что считал, что жизнь слишком коротка для коричневого. Он умел играть на флейте так, что у слушателей наворачивались слёзы, рассказывать анекдоты про епископов так, что у тех же слушателей слёзы наворачивались по другой причине, и проигрывать в карты.

Последнее он умел особенно хорошо. Почти виртуозно. Он проигрывал с таким изяществом, с такой лёгкой улыбкой, с таким небрежным «ну что ж, господа, фортуна — дама капризная», что партнёры по столу, кажется, чувствовали себя неловко, забирая выигрыш. Но забирали. Всегда.

К моим девятнадцати годам он проиграл всё, что у нас было. Мамин жемчуг — три нитки розоватых зёрен, тёплых на коже, как живые. Две картины в гостиной: голландский натюрморт с лимоном, у которого кожура спускалась со стола спиралью, и портрет прабабушки, суровой дамы в чёрном, которую я в детстве боялась и о которой потом, когда её унесли, неожиданно плакала. Конюшню. Карету. И, кажется, повара, хотя насчёт повара я до сих пор не уверена: может, тот просто сбежал сам, не дождавшись жалованья.

Мамы к тому времени уже не было. Её я помню плохо, отрывками, как помнят сон. Запах фиалковой пудры. Тёплые руки, на которых всегда были мелкие царапины от розовых шипов. Мягкий, чуть хриловатый голос, напевающий что-то без слов. Платье цвета весенней травы с вышитыми по подолу маргаритками. И то, что от её прикосновения подоконные герани начинали цвести как сумасшедшие — в любое время года, даже в январе, когда за окном лежал снег, а в гостиной пахло дымом и мокрой шерстью.

Дар у меня от неё. Как и привычка разговаривать с растениями, когда никто не видит. Да, разговариваю. Нет, они не отвечают. Но слушают лучше большинства мужчин.

Наш дом в Пэкстон-корте к тому времени, о котором я рассказываю, выглядел так, как выглядит улыбка без половины зубов. Комнаты стояли пустые: светлые прямоугольники на обоях там, где раньше висели картины; вмятины в паркете там, где стояли шкафы; одинокий крюк на потолке гостиной, с которого сняли люстру. Шаги отдавались эхом. Сквозняки гуляли, как хотели. Единственное, что в доме по-прежнему было живым и красивым, — это сад, потому что сад я никому не отдала. Розы, жимолость, старая груша у ограды, грядка с пряными травами под кухонным окном. Отец в сад не заходил. Говорил, что там слишком много мамы.

Так вот. Когда мне исполнилось девятнадцать, отец позвал меня в кабинет. В кабинете уже не было ни ковра, ни книг, ни, собственно, письменного стола — только стул, камин с горсткой углей и флейта на каминной полке, единственная вещь, которую он не решился поставить на кон. Отец стоял у окна, в своём малиновом жилете, который к тому времени заметно поистерся на локтях, и вертел в пальцах незажжённую трубку.

— Белла, — сказал он, не оборачиваясь. — Тобой интересуется барон Хартвелл.

— Тот, у которого собаки? — уточнила я.

— Тот, у которого деньги, — честно ответил отец. И, к его чести, покраснел. Так густо, что даже уши стали малиновыми, в тон жилету.

Барон Эдмунд Хартвелл сделал мне предложение через моего отца, в письменной форме, на двух листах плотной кремовой бумаги, с приложением описи имущества. Я не шучу. Я до сих пор храню это письмо. Оно лежит в шкатулке из орехового дерева вместе с маминым гребнем и первым выпавшим зубом Кэрри. Почерк ровный, наклонный, без единой помарки, — почерк человека, который сначала пишет черновик, а потом переписывает набело. Там на второй странице, сразу после перечня охотничьих угодий («северный лес, 120 акров, дуб и бук; западная пустошь, 40 акров, вереск и куропатки») и перед списком фамильного серебра («столовый сервиз на 24 персоны, работы мастера Ормсби, 1 шт.»), было написано: «Также обязуюсь обеспечить будущей супруге достойное содержание, отдельную спальню и оранжерею по её усмотрению».

Отдельную спальню, понимаете? В брачном предложении. Тем же ровным почерком, что и куропатки.

Я тогда подумала, что это самое неромантичное, что мне доводилось читать. Сейчас думаю, что это было, возможно, самое честное.

Про оранжерею он, кстати, знал. Видел, как я на каком-то пикнике у соседей, у Фэрфаксов, уговорила зацвести чахлый куст сирени, который хозяйка собиралась выкопать. Я сидела рядом с ним на траве, гладила его по веткам и шептала глупости, пока все остальные ели пирог с голубями, а потом куст взял и выбросил три тяжёлые лиловые грозди, прямо в августе. Миссис Фэрфакс уронила чашку. А барон Хартвелл подошёл ко мне потом, долго смотрел на куст, потом на меня, и сказал: «Полезное умение».

Это был наш первый разговор. Целиком. Два слова.

Я тогда решила, что он надо мной смеётся. Потом, через несколько лет, поняла, что это был комплимент. Самый пылкий, на который Эдмунд в принципе был способен.

Он был старше меня на тридцать один год.

Надо, наверное, его описать. Это нечестно — описывать ловеласа на трёх страницах, а мужа на трёх строчках. Эдмунд заслуживает хотя бы страницы.

Он был невысоким, крепко сбитым, с широкими плечами человека, который полжизни провёл в седле, и с небольшим, аккуратным, каким-то очень приличным животом, который он носил под жилетом, как носят дорогие часы: не напоказ, но с достоинством. Лицо у него было квадратное, обветренное, красноватое на скулах от долгих часов на охоте, с густыми седыми бакенбардами, которые он подстригал сам, каждое воскресенье, маленькими ножничками перед зеркалом в своей гардеробной. Глаза — светло-голубые, выцветшие, как старый

ситец, — смотрели на мир спокойно и чуть удивлённо, будто мир всё время делал что-то неожиданное и не совсем приличное. Нос — крупный, с горбинкой, — краснел зимой. Руки были большими, сухими, в мелких белых шрамах от собачьих зубов и в коричневых пятнах, которые появляются у мужчин после пятидесяти и которые он, кажется, ненавидел больше всего на свете, потому что всё время прятал руки в карманы.

Он носил коричневое. Всегда. Коричневые куртки, коричневые жилеты, коричневые бриджи, коричневые сапоги. По праздникам — тёмно-коричневое. Мой отец, со своими канареечными жилетами, при первой встрече посмотрел на него с таким выражением, будто увидел привидение. Эдмунд посмотрел на канареечный жилет с точно таким же.

Он любил охотничьих собак, свежие газеты и порядок. Носил ночной колпак — да, тот самый, с кисточкой, я думала, их носят только в карикатурах. Колпак был, разумеется, коричневый. Вставал в шесть, завтракал в семь — два варёных яйца, тост, ломтик ветчины, чай без сахара, — читал «Вестник Альбрии» с восьми до девяти, в своём кресле у окна в малой гостиной. В девять уходил к управляющему. В час обедал. В три гулял с собаками. В пять пил чай. В десять ложился спать.

В отдельной спальне.

В свою я его пускала по вторникам и пятницам, с девяти до половины десятого. Вот, собственно, и вся супружеская жизнь, можете не краснеть, краснеть там было не от чего.

Нет, правда. Я понимаю, что вам хочется подробностей. Знаю я вас. Но рассказывать нечего. Он всегда стучал. Три раза, коротко. Всегда спрашивал из-за двери: «Вы позволите, Арабелла?» Всегда входил в халате, тоже коричневом, с поясом, завязанным на двойной узел. Всегда гасил свечу. И всегда, уходя, желал мне доброй ночи и поправлял одеяло. Аккуратно, по краю, как поправляют попону на лошади.

Я лежала в темноте, глядя на балдахин, который не видела, но знала наизусть: тяжёлый тёмно-зелёный бархат с выцветшей золотой бахромой, пахнущий пылью и лавандой, — и думала: «И это всё? Вот об этом пишут в романах? Вот из-за этого стреляются на дуэлях, бросаются с мостов и сбегают из дома с гусарами?»

И решила, что, видимо, со мной что-то не так. Что я из тех женщин, у которых «это» просто не получается. Холодная. Неправильная. Пустая внутри, как наш дом в Пэкстон-корте, где на обоях остались только светлые прямоугольники от картин.

Знаете, сколько лет я так думала? Восемь. Восемь, чёрт возьми, лет.

Но об этом позже. Тоже позже. Тут вообще много чего будет позже, привыкайте.

А теперь — Хартвелл-холл. Потому что дом — это тоже персонаж. Иногда главный.

Хартвелл-холл построили при короле Эдгаре Мудром, и с тех пор его не перестраивали, а только пристраивали. Каждое поколение Хартвеллов добавляло к нему что-нибудь своё: крыло, башенку, галерею, конюшню, оранжерею, ещё одно крыло. В результате дом напоминал старого, очень уважаемого и очень растолстевшего человека, который за долгую жизнь оброс всевозможными привычками, болячками и бородавками. Серый камень, местами позеленевший от мха. Узкие окна в свинцовых переплётах, сквозь которые свет падал внутрь зеленоватым и мутным, как вода в пруду. Черепичная крыша, на которой росли целые поля жёлтого очитка. Две трубы, которые дымили, и шесть, которые не дымили никогда, потому что в тех частях дома давно никто не жил.

Внутри было темно. Всегда, даже в июле. Тёмные дубовые панели до самого потолка, потемневшие от трёх веков каминного дыма до цвета крепкого чая. Тёмные портреты предков в тяжёлых золочёных рамах, на которых все Хартвеллы выглядели одинаково: квадратное лицо, бакенбарды, коричневый курток и выражение лёгкого недоумения от того, что мир всё время делает что-то неожиданное. Даже женщины, мне кажется, были с бакенбардами, просто художник деликатно их не дописывал. Тёмный паркет, скрипящий под ногами на разные голоса: у

лестницы — басом, в библиотеке — тенором, в коридоре у детской — тонко и жалобно, как котёнок. Я за восемь лет выучила их все и могла с закрытыми глазами сказать, кто и где идёт по дому.

Пахло в Хартвелл-холле собаками, воском, табаком и сыростью. Ещё — старой бумагой, потому что Эдмунд никогда ничего не выбрасывал, и в его кабинете газеты стояли стопками вдоль стен, по годам, перевязанные бечёвкой, — сорок лет «Вестника Альбрии». Ещё — немного яблоками, потому что в подвале под кухней хранили урожай из старого сада. И совсем чуть-чуть — лавандой, которую миссис Поттл раскладывала по всем шкафам от моли.

Моль лаванды не боялась. Но миссис Поттл в это не верила.

В первую неделю после свадьбы я ходила по этому дому, как по музею, где мне разрешили жить, но ничего не разрешили трогать. А потом нашла оранжерею.

Оранжерею построил прадед Эдмунда, сэр Бартоломью, который, судя по портрету, был единственным Хартвеллом с намёком на воображение: на картине у него в руке был не хлыст и не газета, а ананас. Оранжерея стояла на южной стороне, у самой стены западного крыла: длинная, узкая, с высокими арочными окнами и стеклянной крышей на чугунных рёбрах, выкрашенных когда-то в белый, а теперь облупившихся до ржавчины. Когда я впервые туда вошла, там не было ничего, кроме пыли, разбитых горшков, засохших стеблей в кадках и одного упрямого лимонного дерева в дальнем углу, на котором висел единственный сморщенный жёлтый плод — как последний зуб во рту у старика.

Я простояла там до темноты. А на следующее утро пошла к Эдмунду и попросила оранжерею себе.

Он оторвался от газеты, посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— Она ваша по договору, Арабелла. Пункт седьмой.

И снова уткнулся в «Вестник».

Вот так у меня появилось место, которое было моим. Только моим. Через год лимон плодоносил так, что миссис Поттл не знала, куда девать урожай. Через два — у меня цвели камелии, жасмин, гардении, мимоза, фиалки всех цветов, которые только можно выписать из столицы, и розы, розы, розы. Белые, как снег. Кремовые, как сливки. Розовые, как щёки Мэри после сна. Тёмно-бордовые, почти чёрные, с бархатными лепестками и тяжёлым, винным запахом, — эти я любила больше всех. Эдмунд заходил туда раз в год, на мой день рождения, стоял у входа, смотрел, кивал и говорил: «Полезное умение». И уходил.

Я его, знаете, за эти два слова почти любила.

Когда родилась наша старшая, Эдмунд взял её на руки — неловко, будто ему вручили очень ценную, но совершенно непонятную вазу, — долго на неё смотрел, а она смотрела на него, красная, сморщенная, с рыжим пухом на макушке, и вдруг ухватила его за палец. Крепко. Эдмунд вздрогнул. А потом — я это видела, я лежала на подушках, обессиленная, мокрая от пота, и видела, — на его квадратном обветренном лице появилось выражение, которого я ни разу у него не замечала. Растерянность. И что-то ещё. Что-то очень тёплое.

— Кэрлайн, — сказал он хрипло. — В честь моей матушки.

Её почти сразу стали звать Кэрри, и только сам Эдмунд до конца жизни называл её полным именем.

Когда через два года родилась младшая, он, не отрываясь от «Вестника Альбрии», сказал:

— Пусть будет Мэри. Рифмуется. Удобно звать к обеду.

Да, вот такой человек. Нет, я не шучу. Да, к обеду они действительно прибегают обе.

И вот вам, кстати, мои дочери. Знакомьтесь.

Кэрри сейчас восемь. У неё мои рыжеватые волосы, только темнее, медные, как старый котелок, отполированный до блеска, и такие густые, что гребень в них застревает. Отцовский подбородок — квадратный, упрямый. Веснушки — россыпью по переносице, будто кто-то

брызнул на неё корицей с ложки. Серые, очень серьёзные глаза, которые смотрят на мир так, будто мир должен ей объяснение и она его рано или поздно получит. Она худенькая, угловатая, вечно с ободранными коленками и чернильными пятнами на пальцах, и одевается так, будто собирается не гулять, а на заседание парламента: аккуратно, строго, с белым воротничком, застёгнутым на все пуговицы.

И, видит небо, ничей характер. Она родилась, по-моему, сразу взрослой. В четыре года научилась читать — сама, по газете отца, и первым словом, которое она прочла вслух, было «облигации». В пять — вести счёт расходам на сладости в маленькой тетрадке с розовой обложкой. В шесть — заключила с кухаркой письменный договор о том, что за каждую прочитанную вслух главу из «Жития святой Агаты» получает одну булочку с корицей. Договор был составлен на обороте моего списка покупок, подписан обеими сторонами (кухарка поставила крестик), заверен котом (отпечаток лапы в варенье) и до сих пор соблюдается.

У Кэрри есть блокнот. В блокноте Кэрри есть всё. Я не знаю, что там написано, и, честно говоря, боюсь знать.

Мэри шесть. Мэри — это моё солнце, мой хаос и мой вечный источник мелких порезов на пальцах. Она маленькая для своего возраста, круглая, тёплая и мягкая, как булочка из печи. Волосы у неё светлые, почти белые, пушистые, как одуванчик, и никакие ленты на них не держатся: через пять минут после того, как их заплели, косички уже растрёпаны, а ленты потеряны где-нибудь в кустах. Глаза — мои, зелёные, с жёлтыми искрами у зрачка, и такие огромные, что в них, кажется, помещается весь мир вместе с ежами, феями и драконами. Щёки — вечно розовые, вечно в чём-нибудь испачканные: варенье, земля, сажа, однажды — синие чернила, которые не отмывались неделю. Нос — пуговкой. На подбородке — ямочка, от Эдмунда.

Она приносит в дом всё, что найдёт. Камни, ежей, ржавые гвозди, птичьи перья, яйца, улики, однажды — живого ужа. Ужа звали сэр Персиваль, и он прожил у нас в коробке из-под шляпы три недели, пока не сбежал в подпол, где, по слухам кухарки, живёт и по сей день и «шуршит по ночам, ваша милость, ну чисто привидение». Мэри верит в фей, драконов, говорящих котов и в то, что если очень долго смотреть на луну, то она подмигнёт. Она до сих пор ждёт, когда подмигнёт. Каждое полнолуние сидит на подоконнике в ночной рубашке, поджав ноги, и смотрит. Пока безрезультатно. Но она не теряет надежды.

У Мэри мои глаза и, к сожалению, мой талант задавать неудобные вопросы в самый неподходящий момент. Но про это вы ещё узнаете.

Сейчас вы, наверное, ждёте, что я расскажу, каким чудовищем был старый барон и как я, бедная голубка, томила в его золотой клетке. Не дождётесь. Эдмунд был хорошим человеком. Скучным, как воскресная проповедь, но хорошим. Он никогда не повышал на меня голос, никогда не поднимал руку, позволял мне выписывать из столицы любые семена для оранжереи и ни разу за восемь лет не спросил, о чём я думаю.

За последнее я ему особенно благодарна. Думала я, как правило, о том, что неплохо было бы сбежать с гусаром.

Гусара, впрочем, взять было неоткуда. Ближайший гарнизон стоял в сорока милях, а единственный военный, которого я видела в округе за восемь лет, был отставной полковник Блай, семидесяти двух лет, с деревянной ногой и попугаем, который знал только два слова, оба неприличные.

А ещё Эдмунд любил девочек. По-своему, неуклюже, молча. Он не умел с ними играть, не умел рассказывать сказки, не умел даже толком обнять — только похлопывал по спине, как похлопывают лошадь после хорошей скачки. Но по воскресеньям, после церкви и обеда, сажал обеих к себе на колени, в своё большое кожаное кресло, продавленное посредине за сорок лет до формы его тела, и показывал им в газете биржевые сводки. Объяснял, что такое «акции

северной железной дороги» и почему они падают. Что такое «облигации королевского займа». Что такое «дивиденды».

Кэрри слушала с горящими глазами, задавала вопросы и всё записывала. Мэри засыпала через минуту, уткнувшись носом в его коричневый жилет, от которого пахло табаком и собаками. Эдмунд никогда не обижался. Просто дочитывал Кэрри сводку до конца, а потом относил Мэри в кроватку — медленно, осторожно, по той самой половине у детской, которая скрипела тонко, как котёнок, и на которую он всегда наступал с краю, чтобы не разбудить, — и, я видела, проверял, закрыто ли окно.

Он проверял окно в детской каждый вечер. Восемь лет. Я узнала об этом только после его смерти, от миссис Поттл.

Умер он тоже очень в своём стиле: в любимом кресле, с газетой на коленях, на странице с биржевыми сводками. В пятницу, в половине шестого вечера, сразу после чая.

Был ноябрь. За окнами малой гостиной висел туман, такой густой и белый, что казалось, будто дом обложили ватой. В камине тихо потрескивали буковые поленья. На столике у кресла стояла чашка с недопитым чаем — без сахара — и тарелочка с одним недоеденным имбирным печеньем. Две охотничьи собаки, старый Брут и молодой Цезарь, лежали у его ног на коврик и спали.

Я зашла спросить, не нужно ли ему ещё чего-нибудь. А он сидел, чуть склонив голову набок, будто задумался над особенно запутанной колонкой цифр. Очки сползли на кончик носа. Одна рука лежала на газете, другая — на подлокотнике, пальцами вниз, будто он собирался встать. На лице было то выражение лёгкого недоумения, с которым он всегда читал новости о повышении пошлин на шерсть.

А собаки не спали. Я это поняла не сразу. Они лежали, положив головы на лапы, и смотрели на него. Не мигая.

Доктор сказал — сердце. Я думаю — котировки. Акции северной железной дороги упали в тот день на одиннадцать пунктов.

Я плакала. Честно. Больше, чем сама от себя ожидала, и, наверное, больше, чем он бы от меня ожидал. Сидела на полу у его кресла, на вытертом турецком ковре с узором из гранатов и павлинов, держала его ещё тёплую, сухую, в пятнах руку — ту самую, которую он всегда прятал в карман, — и ревела так, что прибежали все слуги, а потом и девочки.

Кэрри молча стояла в дверях. В ночной рубашке, хотя было только полшестого — она болела, у неё был насморк, — с блокнотом, прижатым к груди обеими руками. Лицо у неё было белое и неподвижное, как у фарфоровой куклы. Она не плакала. Она вообще не плакала, ни тогда, ни на похоронах, ни потом. Заплакала она через три месяца, в феврале, когда нашла в отцовском кабинете газету за тот самый день, с подчёркнутыми карандашом акциями северной железной дороги. Ревела час, сидя на полу среди сорока лет «Вестника Альбрии». А потом вытерла нос рукавом, сложила газету вчетверо и спрятала в блокнот. Она там до сих пор.

А Мэри подошла, залезла ко мне на колени, обняла за шею горячими липкими ручками — она ела вишнёвое варенье — и спросила, можно ли разбудить папу, если очень громко позвать.

А я не знала, что ей ответить. До сих пор не знаю.

Знаете, я ведь его не любила. Не так, как пишут в романах. Но я к нему привыкла, как привыкают к старым часам в гостиной: ты не замечаешь, как они тикают, пока они вдруг не останавливаются. И вот тогда тишина становится такой громкой, что от неё закладывает уши.

Цветы в оранжерее в ту ночь завяли. Все. Розы, камелии, жасмин — все опустили головы и почернели, будто их прихватило морозом. Только лимонное дерево в дальнем углу устояло. Видимо, оно было слишком старым, чтобы кого-нибудь оплакивать.

Я не нарочно. Я тогда ещё не знала, что мой дар так умеет.

Похороны были скромными: Эдмунд терпеть не мог шума. Маленькая серая церковь в деревне, с покосившейся колокольной и витражом, на котором святая Агата держала в руках что-то, что я восемь лет принимала за пирог, а оказалось — за собственную грудь. Пастор Уиллоби, тощий, с сизым носом и голосом, похожим на скрип несмазанной калитки. Холодный дождь. Свежевырытая яма на кладбище за церковью, рядом с длинным рядом серых плит, на каждой из которых было выбито «Хартвелл» и какое-нибудь благочестивое изречение. Эдмунду я выбрала: «Он всё делал вовремя». Пастор пытался меня отговорить. Я настояла.

Пришли соседи — Фэрфаксы в полном составе, все семеро, в одинаковых чёрных шляпах, как стая грачей. Арендаторы, мокрые, молчаливые, мяввшие в руках шапки. Миссис Поттл в чёрном капоре, который она достала из сундука впервые со смерти матушки Эдмунда, и который пах нафталином на всю церковь. Полковник Блай без попугая — попугая, слава небесам, оставили дома. Старый поверенный мистер Доббс в своём вечном коричневом сюртуке — кажется, единственный в округе, кто одевался так же, как Эдмунд, и, кажется, единственный, кто по-настоящему плакал, кроме меня.

И Сайлас.

И вот здесь, дорогие мои, вы можете выдохнуть: злодей у нас будет. Классический. Я бы даже сказала, коллекционный.

Сайлас Хартвелл приходился Эдмунду двоюродным братом и был моложе его лет на пятнадцать. Высокий — выше всех в церкви, даже выше пастора, — и худой той болезненной, сухой худобой, которая бывает у людей, никогда не евших с удовольствием. Узкое бледное лицо, вытянутое, как у гончей, с впалыми щеками и острым подбородком. Длинный тонкий нос с горбинкой, который, казалось, всё время к чему-то принюхивался. Глаза — водянисто-серые, близко посаженные, с тяжёлыми веками, — всегда полуприкрыты, будто ему скучно, но под этими веками что-то всё время двигалось, считало, взвешивало. Губы тонкие, бескровные, сложенные в вечную гримасу человека, учувшего что-то неприятное. На лице, наверное, жило бы выражение брезгливости, если бы ему было где поместиться между носом и ртом.

Но всё это место занимали усики.

Ах, усики. Тонкие, чёрные, напояженные, подкрученные кверху двумя изящными завитками, как у оперного злодея или у кота на вывеске табачной лавки. Он подкручивал их, когда думал о чём-то гадком, то есть постоянно. Левый — когда был доволен. Правый — когда злился. Оба сразу — когда был очень, очень доволен, и вот тогда надо было бояться больше всего.

Одевался он в чёрное. Всегда, а не только на похоронах. Узкий чёрный сюртук, туго затянутый в талии, чёрный жилет с серебряной искрой, чёрный шейный платок, заколотый булавкой с жемчужиной. На мизинце левой руки — перстень с огромным тёмным камнем, похожим на застывшую каплю чернил. В правой руке — трость с набалдашником из слоновой кости, которой он постукивал по полу, когда терял терпение, а терял он его так же часто, как подкручивал усы.

И пахло от него странно: пудрой и чем-то кислым, вроде уксуса. Мэри однажды сказала, что дядя Сайлас пахнет, как маринованный огурец, который нарядили на бал. Я тогда отругала её за грубость. А потом ушла в оранжерею и смеялась там полчаса, уткнувшись лицом в камелию.

И с привычкой называть меня «милая невестка» таким тоном, будто это диагноз.

Я, кстати, не была ему невесткой. Мы проверяли. Но он настаивал.

— Милая невестка, — сказал он мне у свежей могилы, пока пастор Уиллоби ещё дочитывал последние строки своим голосом-калиткой, — какая утрата. Какая невосполнимая утрата для всех нас.

И подкрутил левый ус. Прямо там. Над гробом.

С тех пор я его тихо ненавижу. Ну, не очень тихо, если честно.

Завещание огласили на следующий день, в кабинете Эдмунда, где ещё пахло его табаком и газетной краской. На столе лежала стопка непрочитанных «Вестников» — за пятницу, субботу и воскресенье, — аккуратно сложенная дворецким, потому что никто не знал, что с ними делать. В кресле за столом никто не сидел. Сайлас попытался было сесть, но наткнулся на мой взгляд и передумал. Сел на стул у камина. Брут и Цезарь лежали под столом, у пустого кресла, и рычали на него. Тихо, на одной ноте, всё время, пока мистер Доббс читал.

Мистер Доббс, маленький, кругленький, с венчиком седых волос вокруг лысины, розовой и блестящей, как яблоко, с добрыми близорукими глазами за толстыми стёклами очков, зачитывал завещание так долго и так монотонно, что Мэри, которую не с кем было оставить, уснула у меня на коленях. Кэрри, сидевшая на соседнем стуле, прямая, как палка, в чёрном платье, которое ей сшили за одну ночь из моей старой юбки, достала блокнот и начала что-то записывать.

Всё было вполне ожидаемо. Имение, земли, дом и всё прочее переходило к дочерям, поскольку сына у Эдмунда не было, а закон Альбрии, к счастью, в таких случаях не делал разницы между наследниками. Северный лес объявлялся «неотчуждаемой частью наследства, не подлежащей продаже, залогу или вырубке иначе как для нужд имения». Мне полагалось вдовье содержание — триста фунтов в год, что, поверьте, не так много, как звучит. Управление имением до совершеннолетия девочек передавалось «ближайшему родственнику мужского пола, сведущему в делах», то есть Сайласу, который при этих словах так подкрутил ус, что я испугалась, не оторвёт ли.

А потом мистер Доббс откашлялся, снял очки, протёр их большим клетчатым платком, снова надел и прочитал пункт двенадцатый.

«Опекунство над моими дочерьми, Кэролайн и Мэри Хартвелл, остаётся за их матерью, баронессой Арабеллой Хартвелл, если она не уронит чести рода Хартвеллов. В противном случае опекунство переходит к ближайшему родственнику мужского пола».

— Что значит «уронит»? — спросила я.

Мистер Доббс снял очки и посмотрел на меня с тихим сочувствием. Без очков его глаза казались совсем маленькими и беззащитными, как у крота.

— Это... формулировка весьма расплывчатая, ваша милость. Обычно её толкуют как... ну... порочащее поведение. Скандал. Повторный брак без одобрения семьи. Связь, если позволите, неподобающего характера.

— Покойный кузен Эдмунд всегда отличался предусмотрительностью, — промурлыкал Сайлас со своего стула у камина. — Он, без сомнения, хотел защитить своих дочерей. От... всяческих случайностей.

И посмотрел на меня так, будто я и была главной всяческой случайностью.

Брут под столом зарычал громче.

Угадайте с трёх раз, кто у нас ближайший родственник мужского пола. Правильно, усики.

Я до сих пор не знаю, зачем Эдмунд вписал этот пункт. Может, правда хотел защитить девочек. Может, боялся, что я выйду замуж за первого же охотника за приданым. А может, просто любил, чтобы в документах всё было предусмотрено, как в его расписании. Я на него не сержусь. Почти. Но иногда, когда не спится, я мысленно спрашиваю его: «Эдмунд, ну вот скажи, о чём ты думал?» И он мысленно отвечает: «Об акциях северной железной дороги, Арабелла». И мне становится немножко легче.

Потом были два года чёрного.

Знаете, что такое траур в Альбрии? Это когда ты не можешь танцевать, не можешь ездить в гости, не можешь принимать гостей, кроме самых близких родственников (Сайласа, ура), не

можешь носить ничего, кроме чёрного крепа, который колется, как мешковина, шуршит, как сухие листья, при каждом шаге и пахнет, почему-то, сырыми спичками. Не можешь носить украшений, кроме траурной броши с прядью волос покойного (у Эдмунда к тому времени волос на голове осталось немного, так что брошь вышла скромная). Не можешь смеяться громко. Не можешь петь. Не можешь даже играть на фортепиано что-нибудь, кроме псалмов.

Однажды я засмеялась на крыльце, когда Мэри попыталась надеть на кота чепчик, а кот, извиваясь, как угорь, выскальзывал у неё из рук и в конце концов удрал с чепчиком на одном ухе, — и проходившая мимо жена викария, миссис Пинчботтом, посмотрела на меня так, что я весь вечер чувствовала себя преступницей.

Миссис Пинчботтом, кстати, заслуживает отдельного описания. Маленькая, сухонькая, похожая на воробья, которого обмакнули в уксус, с острым носиком, острыми локтями и острым языком. Всегда в сером. Всегда с ридикюлем, в котором лежали молитвенник, нюхательные соли и, по слухам, записная книжка, куда она вносила все грехи прихожан с указанием даты. За восемь лет она не сказала мне ни одного доброго слова, а после смерти Эдмунда стала говорить их ещё меньше.

Я носила чёрное, потому что так положено, а потом ещё полгода серое, потому что так тоже положено. И всё это время стригла розы, учила девочек читать и считать, писала письма тётушке Гортензии в столицу и считала деньги, которых с каждым месяцем становилось подозрительно меньше.

Подозрительно — потому что Сайлас управлял имением так, как управляют чужой лошадью: гнал во весь опор, не жалея. Арендная плата с северных ферм почему-то упала на треть, хотя урожай был хороший, я сама видела: пшеница стояла по пояс, золотая, тяжёлая, и арендатор Хоббс, краснолицый, с руками, как лопаты, сам говорил мне, что такого урожая не помнит с молодости. Ремонт крыши в западном крыле почему-то стоил вдвое дороже, чем в прошлом году, хотя крыша протекала так же, как и раньше, в тех же трёх местах, и под теми же тремя протечками стояли те же три медных таза, в которые капало с тем же звуком: дзынь, дзынь, бульк.

На содержание дома мне выдавали ровно столько, чтобы хватало на свечи, муку и жалование трём оставшимся слугам: миссис Поттл, кучеру Тоби и горничной Нэнси, которой было пятнадцать и которая боялась пауков, темноты и Сайласа, причём Сайласа — больше всего. Остальных Сайлас «рассчитал за ненадобностью». Дворецкого Грейвза, который служил Хартвеллам сорок лет. Второго садовника. Конюха. Включая гувернантку девочек, мисс Эббот, тихую, умную, с вечными чернильными пятнами на пальцах, которую Кэрри обожала.

— Вы же сами прекрасно справляетесь, милая невестка, — сказал Сайлас. И подкрутил ус.

Справлялась. Куда деваться. Утром учила Кэрри французскому, а Мэри — буквам. Днём ходила в оранжерею, которая единственная во всём доме оставалась моей территорией: Сайлас туда не заглядывал, он, по-моему, боялся растений. Однажды он всё-таки зашёл — посмотреть, «не слишком ли много угля уходит на отопление этой теплицы, милая невестка», — и в ту же секунду ему за шиворот с потолочной балки упала гусеница. Мохнатая, зелёная, толстая, как палец. Я не знаю, откуда она взялась. Честное слово. Ну, почти честное. Больше он не заходил.

Вечером я проверяла счета, которые присылал его управляющий, мистер Гаджон, — человек с бакенбардами, как два рыжих веника, и бегающими глазками, — и пыталась понять, как это так получается, что цифры в них складываются правильно, а денег всё равно нет.

Мой дар, кстати, за эти два года здорово окреп. Видимо, от одиночества. Когда тебе не с кем поговорить, ты говоришь с розами, а розы — существа благодарные. Оранжерея, которая в ночь смерти Эдмунда вся почернела, через месяц ожила. Через год стала похожа на джунгли из книжки с картинками, которую Мэри затёрла до дыр. В декабре у меня цвели пионы — пышные, розовые, тяжёлые, как взбитые сливки. В феврале созрела клубника, мелкая, аромат-

ная, тёмно-красная, и девочки ели её, сидя на перевёрнутых горшках, и Мэри перемазалась вся, до ушей. Кухарка, которая слегла с лихорадкой, через три дня встала на ноги, потому что я поставила ей у кровати горшок с мимозой и всю ночь его уговаривала, сидя на табуретке, держа кухаркину горячую руку в одной руке, а ветку мимозы — в другой.

Я не знаю, как это работает. Мама тоже не знала. Это просто тепло. Ты отдаёшь его растению, растение отдаёт его дальше. Мелкое, бесполезное, домашнее волшебство. Не огненные шары, не молнии, не морские бури, которыми хвастаются столичные маги в газетах, которые читал Эдмунд. Просто цветы.

Но у этого волшебства есть одна особенность, о которой я тогда не задумывалась. Оно зависит от того, что у тебя на душе. Когда мне грустно, розы вянут. Когда я злюсь, на шиповнике вырастают шипы длиной в палец. А когда мне хорошо...

Впрочем, тогда мне хорошо не было. Тогда мне было никак.

А потом наступила весна.

Траур закончился в марте. Серое закончилось в начале апреля, в тот день, когда в саду под окнами детской расцвела старая слива — сама, без всякой моей помощи, белым облаком, будто кто-то бросил на неё кружевную шаль. И однажды вечером, уложив девочек — по крайней мере, так я думала, — я поднялась к себе, открыла старый сундук, который не открывала с самой свадьбы, и достала оттуда платье.

Моя спальня в Хартвелл-холле, раз уж мы здесь, — это большая квадратная комната в восточном крыле, с окнами на сад. Стены обиты выцветшим шёлком цвета чайной розы, с узором из маленьких серебряных птиц, которые за сто лет почти слились с фоном, и разглядеть их можно было, только если подойти вплотную и прищуриться. Кровать с балдахином — та самая, тёмно-зелёная, с золотой бахромой. Камин из серого мрамора с прожилками, как у старого сыра. Туалетный столик орехового дерева с овальным зеркалом в резной раме, на которой были вырезаны виноградные гроздья, и у одной грозди не хватало ягоды: Кэрри в три года выковыряла её ножом для бумаги, «чтобы посмотреть, что внутри». Внутри было дерево. Кэрри была разочарована.

И сундук. Старый, кованый, с позеленевшими медными уголками, обитый изнутри полосатым тиком. Он стоял у изножья кровати восемь лет, и я ставила на него поднос с чаем, клала книги и ни разу не открывала.

Платье лежало на самом дне. Под шальями, под старыми перчатками, под завёрнутыми в бумагу письмами отца. Цвета спелой сливы. Шёлковое, тяжёлое, прохладное на ощупь, с низким вырезом и узкими рукавами, отделанными тонким кремовым кружевом. Мне его сшили к первому сезону, к тому самому, который я так и не провела в столице, потому что за месяц до отъезда отец проиграл мою дорожную карету. Восемь лет оно пролежало в сундуке, пересыпанное лавандой, и пахло теперь лавандой и чем-то ещё, неуловимым — несбывшимся, наверное.

Я надела его. Корсет пришлось затянуть чуть слабее, чем в девятнадцать: двое детей, знаете ли, не проходят бесследно. Но в целом... В целом оно сидело. Я зажгла все свечи, какие нашлись в комнате, — шесть, в двух бронзовых подсвечниках, — встала перед зеркалом с виноградной рамой, вынула шпильки, и волосы рассыпались по плечам.

И я посмотрела на себя. По-настоящему, впервые, кажется, за все эти годы.

Из зеркала на меня смотрела женщина. Не девочка, не жена, не вдова. Женщина двадцати семи лет. Невысокая. С тонкой талией, которую сливовый шёлк делал ещё тоньше, и с бёдрами, которые он, наоборот, делал шире, и я впервые подумала, что это, может быть, даже красиво. С кожей, которая за два года в чёрном и сером стала бледной, почти прозрачной, с голубыми жилками на висках и на внутренней стороне запястий. С россыпью бледных веснушек на плечах — от мамы. С рыжеватыми волосами, тяжёлыми, волнистыми, спадающими ниже лопаток, в которых свечи зажигали медные и золотые искры и в которых уже не было ни одного седого

— я проверяла каждое утро. С глазами — зелёными, мамиными, с жёлтыми крапинками у зрачка, — усталыми, но упрямыми. С губами, которые я так долго сжимала в ровную вежливую линию, что, кажется, разучилась держать их по-другому. С плечами, которые, оказывается, ещё вполне ничего — круглые, гладкие, с мягкой ямкой у ключицы. И с грудью, которая в этом вырезе выглядела... Скажем так, вызывающе. Эдмунд бы покашлял и предложил шаль.

Восемь лет я была женой. Два с половиной года — вдовой. А женщиной, по-моему, не была ни дня.

И вот тут во мне что-то щёлкнуло. Будто открылся замок, который я сама же когда-то заперла, а ключ потеряла.

Мне двадцать семь. У меня ещё вся жизнь впереди. Ну, большая её часть. Я ни разу в жизни не танцевала вальс до утра. Ни разу не целовалась так, чтобы подкашивались колени. Ни разу — вот вообще ни разу — не просыпалась утром с мужчиной, рядом с которым хотелось бы проснуться ещё раз. Я ни разу не узнала, правда ли то, о чём шепчутся замужние дамы за чаем, прикрываясь веерами и хихикая, и о чём пишут в тех романах, что продаются в столичных лавках из-под прилавка в обёртке из-под молитвенников.

И я подумала: а почему, собственно, нет?

А на подоконнике за моей спиной — я увидела это в зеркале — в горшке с засохшей геранью, которую я давно забыла выбросить, вдруг шевельнулся и развернул листья крошечный зелёный росток.

— Мама, ты красивая, — сказала Мэри.

Я подпрыгнула так, что едва не опрокинула подсвечник. Мэри, разумеется, не спала, а сидела под туалетным столиком вместе с котом. Кот был в чепчике. Тот самый чепчик, кружевной, с розовыми лентами, который когда-то принадлежал покойной матушке Эдмунда. Видимо, их с котом отношения за это время перешли на новый уровень доверия.

Кот, кстати. Я совсем забыла его представить, а он бы мне этого не простил.

Кот был огромный, серо-полосатый, с белой манишкой и белыми носочками на всех четырёх лапах. Весил он, по-моему, как небольшой поросёнок, и двигался с той же грацией, пока не видел мышь, — тогда он превращался в молнию. Морда у него была широкая, щекастая, с длинными белыми усами и выражением глубочайшего презрения ко всему существу, а глаза — жёлто-зелёные, как крыжовник, — смотрели на мир так, будто мир задолжал ему сливок. Пришёл он к нам сам, три года назад, в грозу, сел на крыльцо и сидел, пока ему не открыли. Мэри назвала его Епископом. Потому что он толстый и всех осуждает.

— Мэри! Ты почему не в кровати?

— Я слежу, — сказала Мэри серьёзно, выглядывая из-под столика. Её белые волосы стояли дыбом, как у одуванчика, в который подули, а на щеке был след от подушки. — Кэрри сказала, что ты что-то задумала. И что за тобой надо следить.

— А где сама Кэрри?

— Здесь, — сказала Кэрри из-за портьеры. Тяжёлой, бархатной, тёмно-зелёной, в тон балдахину.

Вышла. В ночной рубашке до пят, с блокнотом под мышкой, с медными косами, заплетёнными на ночь так туго, что уголки глаз у неё чуть приподнялись, и с выражением главного прокурора Альбрии.

— Мама собирается в столицу, — сказала она. — На весь сезон.

— С чего ты взяла?

— Ты написала тёте Гортензии, — Кэрри открыла блокнот и прочитала тем самым голосом, которым читала кухарке «Житие святой Агаты». — «Дорогая тётушка, я больше не могу. Если я ещё месяц просижу в этом доме, я начну разговаривать с Сайласом, а это первый признак безумия. Приеду в мае. С девочками. Приготовь две детские и бутылку хереса». Конец цитаты.

— Ты читала мою почту?

— Ты оставила черновик на столе, — пожала плечами моя дочь. — Это всё равно что приглашение.

Я посмотрела на неё. Потом на Мэри. Потом на кота в чепчике, который смотрел на меня с выражением глубочайшего презрения ко всему происходящему. И засмеялась. Громко, как не смеялась все эти два с половиной года. Так, что, наверное, миссис Пинчботтом в своём доме за три мили подпрыгнула на кровати и полезла в ридикюль за записной книжкой.

— Да, — сказала я. — Мама собирается в столицу. И вы едете со мной.

— А там будут принцы? — спросила Мэри.

— Там будут балы, — сказала Кэрри. — А на балах бывают принцы. Это логично. Мама, тебе нужен принц?

Я не стала говорить им, что принцы мне не нужны. Что мне нужно кое-что гораздо проще. И гораздо неприличнее. Есть вещи, которые не рассказывают дочерям восьми и шести лет, даже если одна из них ведёт блокнот, а другая дружит с ужами.

— Мне нужны новые платья, — сказала я дипломатично. — А принцы — это как получится.

— Я запишу, — сказала Кэрри. И записала.

Сайлас, узнав о моём отъезде, приехал на следующий же день. В своей старой коляске — тогда она у него ещё была старая, с облупившимся лаком и треснутым фонарём. Ну, вы помните, что будет с коляской. Ружьё на стене висит, просто пока не заряжено.

Он стоял посреди гостиной, опираясь на трость. Большая гостиная Хартвелл-холла — это длинная, вытянутая комната с тремя окнами в свинцовых переплётах, выходящими на подъездную аллею, с огромным камином, в котором можно было бы зажарить быка (и, по семейной легенде, однажды зажарили, на свадьбе сэра Бартоломею), с портретами Хартвеллов по стенам и с мебелью, обитой выцветшим гобеленом с охотничьими сценами: собаки, олени, всадники в треуголках, бесконечная погоня, застывшая на сиденьях кресел. Я восемь лет сидела на загнанном олене. Это, знаете ли, накладывает отпечаток.

Сайлас стоял ровно посреди этой комнаты, в своём чёрном, длинный, как восклицательный знак, и его усики выражали всю гамму чувств от недоумения до праведного негодования.

— Столица, милая невестка? — сказал он. — В вашем положении? Не слишком ли... поспешно?

— Траур окончен, Сайлас.

— Траур — да. Но память, — он приложил руку к сердцу, если, конечно, у него там было сердце, а не, скажем, кошелек, — память о покойном Эдмунде обязывает...

— Память о покойном Эдмунде обязывает меня вывести его дочерей в свет, когда придёт время, — сказала я. — А для этого им нужно хоть раз в жизни увидеть что-то кроме этих стен, ваших счетов и миссис Пинчботтом. Я еду к тётушке Гортензии. Она вдова адмирала, ей шестьдесят три года, и она ходит в церковь дважды в неделю. Если вам этого недостаточно для соблюдения приличий, можете написать епископу.

Кот, лежавший на подоконнике, при слове «епископ» поднял голову и посмотрел на Сайласа. Сайлас посмотрел на кота. Кот зевнул. Широко, со вкусом, показав все зубы.

Сайлас помолчал. Покрутил ус. Покрутил второй. Постучал тростью.

— Что ж, — сказал он наконец. — Езжайте. Только помните, милая невестка, пункт двенадцатый.

— Я помню, Сайлас.

— Столица — город соблазнов.

— Я очень на это надеюсь, — сказала я.

Он не понял. Решил, видимо, что ослышался. А я не стала повторять.

Через неделю мы выехали.

Карета была старая — та самая, хартвелловская, громоздкая, чёрная, с гербом на дверце: три дубовых листа и охотничий рог на зелёном поле, — и пахла внутри кожей, пылью и яблоками, которые миссис Поттл положила нам в дорогу в корзинку. Сиденья, обитые потёртым коричневым бархатом, — коричневым, конечно, — проваливались посередине, и пружины в них пели на ухабах на разные голоса, как паркет в доме. Лошади — две гнедые, Мэгги и Дамплинг, обе немолодые, обе уставшие от жизни, — шли медленно, с достоинством, как старые дамы на прогулке.

Кучер Тоби — невысокий, кряжистый, с красным обветренным лицом, сизым носом картошкой и седыми бровями, такими густыми, что они нависали над глазами, как козырёк, — сидел на козлах в своём неизменном плаще с тремя пелеринами, вечно пахнущий табаком, несмотря на то, что клялся жене бросить ещё три года назад. Жена Тоби, Бесс, провожала нас на крыльце, уперев руки в бока, и смотрела на мужа так, что тот съеживался под своими пелеринами.

— Чтоб ни одной трубки, Тоби Мэйхью, — сказала она. — Ни одной. Я узнаю.

— Да, Бесси, — сказал Тоби. И, как только мы выехали за ворота, закурил.

На крыше были привязаны два сундука, коробка с котом (без чепчика, чепчик Мэри везла отдельно, на коленях, как реликвию) и корзина с моими любимыми розами — три куста, тёмно-бордовые, почти чёрные, с бархатными лепестками, — которые я не решилась оставить на попечение Сайласа.

Миссис Поттл провожала нас у ворот. Миссис Поттл — это... ну, как бы вам объяснить. Если бы Хартвелл-холл превратился в человека, это была бы миссис Поттл. Шестьдесят лет, из которых сорок пять она прослужила в этом доме. Широкая, как печь, и такая же тёплая. Румяная, с тремя подбородками, с маленькими чёрными глазками, блестящими, как изюминки в булке. В белом чепце, крахмальном до хруста, и в фартуке, на котором всегда было хоть одно пятно — от муки, от варенья, от свёклы. С вечной поварёшкой в руке — она, по-моему, с ней и спала. Говорила она громко, ходила тяжело и знала всё обо всех на десять миль вокруг. Когда я приехала в этот дом девятнадцатилетней невестой, я первые полгода боялась заходить на кухню. А потом однажды, в первую мою зиму, когда мне было так одиноко, что хотелось выть, она без единого слова поставила передо мной кружку горячего молока с мёдом и пряничного человечка с изюминами вместо глаз. И я разревелась. А она гладила меня по голове большой, пахнущей тестом рукой и бормотала: «Ничего, ваша милость, ничего, обживётесь».

Обжилась.

— Вы уж там, ваша милость, — сказала она, всхлипывая и вытирая глаза фартуком, — вы уж там поосторожнее. Столица, она такая. Там все в перчатках, а руки-то грязные.

— Я буду осторожна, миссис Поттл.

— И не ешьте там ничего у торговцев на улице. Мясо у них — кошатина.

Епископ в коробке на крыше возмущённо мяукнул.

— И девочкам шарфы. По утрам сыро.

— Хорошо, миссис Поттл.

— И за мистером Сайласом я тут приглашу, — добавила она уже тише, наклонившись к окну кареты. Глазки-изюминки недобро блеснули. — Не сомневайтесь. У меня, знаете, поварёшка тяжёлая.

Кэрри сидела у окна и записывала в блокнот всё, что видела по дороге. Мэри спала, положив голову мне на колени, ещё до того, как мы выехали за ворота.

А я смотрела в окно, на то, как удаляется Хартвелл-холл. Серая громада под серым небом, обросшая мхом и пристройками, с шестью мёртвыми трубами и двумя живыми, из которых поднимался в весеннее небо тонкий голубоватый дым. С оранжереей, которая сверкала на

солнце стеклом, как бриллиант на руке старой дамы. Со старым дубом на опушке северного леса, на ветке которого висели детские качели, и верёвки качелей покачивались на ветру, будто кто-то только что с них спрыгнул.

И думала о том, что впервые в жизни еду куда-то не потому, что так решили за меня.

Итак, вот вам расклад на начало истории: вдова, двое детей, злой родственник, завещание с подвохом, поместье, которое медленно, но верно утекает в чужой карман, и платье цвета спелой сливы в сундуке на крыше. Классика? Классика. Я вас предупреждала, что тут всё будет ровно тем, чем кажется?

Нет? Ну, вот, предупреждаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.